

XIX

6 сентября. – Бланки

В десять часов утра собрание на улице Рынка.

Маленького роста старичок, утопающий в широком сюртуке с слишком высоким воротничком и чересчур длинными рукавами, раскладывает на столе какие-то бумаги.

Подвижная голова, лицо – точно серая маска. Большой ястребиный нос, как-то нелепо переломленный посредине; беззубый рот, где между десен шмыгает кончик розового, подвижного, как у ребенка, языка.

Но над всем этим – громадный лоб и глаза сверкающие, как раскаленные уголья.

Это – Бланки.

Я называю себя. Он протягивает мне руку.

– Давно уже хочу познакомиться с вами. Я много слышал о вас. С большим удовольствием забрался бы с вами куда-нибудь в уголок и поговорил... по-товарищески. Приходите ко мне вечером, когда здесь все кончится. Хорошо?

Он сует мне свой адрес, дружески прощается со мной и спрашивает, явились ли люди из квартала Ла-Виллетт...

Сразу же после собрания я побежал к нему.

Живет он у одного товарища, побывавшего в ссылке после государственного переворота; у него он скрывается после стычки в Ла-Виллетт.

Я застал его с карандашом в руке, составляющим воззвание, которое он и прочел мне.

Это было перемирие^[141] во имя родины между ним и правительством обороны.

Я повел носом.

– Вы находите, что я не прав?

– Через месяц вы будете на ножах!

– Это уж будет их вина.

– Во всяком случае, усильте хотя бы одной боевой фразой ваше слишком спокойное заявление.

– Пожалуй... Что же вы предлагаете?

Я взял перо и приписал: «Надо сегодня же ударить в набат».

– Вот это концовка!

Потом, спохватившись, он прибавил, почесывая голову:

– Но это не так-то просто.

Так вот он, этот призрак восстаний, оратор в черной перчатке, тот, кто поднял на Марсовом поле сто тысяч человек и кого документ Ташеро[142] обвинял в предательстве!

Поговаривали, что черная перчатка скрывает проказу, что глаза его налиты желчью и кровью... Неверно: у него чистые руки и ясный взгляд. Он похож на воспитателя детей, этот вдохновитель людского океана.

И в этом его сила.

Трибуны со свирепой выправкой, с львиной внешностью и бычьей шеей взывают к животному, варварскому героизму масс.

Между тем как Бланки, холодный математик в деле восстаний и репрессий, словно держит в своих сухих пальцах смету страданий и прав народа.

Его речи не парят, как большие птицы с шумом широких крыльев, над толпами людей, которые часто вовсе не желают думать, а только хотят быть усыпленными музыкой восстаний, звучащей порой без всякой пользы для дела.

Его фразы как воткнутые в землю шпаги, которые трепещут и звенят на своих стальных клинках. Это он сказал: «У кого меч, у того и хлеб!»

Спокойным голосом бросает он свои острые слова, и они проводят борозды в мозгу обитателей предместий, оставляют красные рубцы на теле буржуа.

И потому, что он мал и, по-видимому, слаб, потому, что он кажется еле живым, – потому-то и зажигает он своим коротким дыханием народные массы, потому-то они и носят его на щите

своих плеч.

Революционное могущество в руках у простых и хрупких... народ любит их, как женщин.

Есть что-то женственное в этом Бланки. Обвиненный в вероломстве классиками революции, он обратился для защиты к воспоминаниям о своем домашнем очаге, брошенном им для битв и тюрьмы, и вызвал призрак нежно любимой жены, умершей от горя, подруги, чье присутствие он постоянно чувствовал в уединении своей камеры, за стеной которой плакал ветер моря.

Пять часов. – Ла-Кордери [143]

Сегодня после полудня у народа было свое заседание.

Старая политика должна погибнуть у ложа, на котором Франция истекает кровью в родовых муках; она не может дать нам ни облегчения, ни спасения.

Теперь все дело в том, чтобы не увязнуть в этой трясине и – чтобы не дать сгнить в ней колыбели Третьей республики – обратиться к колыбели Первой революции.

Вернемся в Зал для игры в мяч[144].

В 1871 году Зал для игры в мяч находился в самом сердце побежденного Парижа.

Знаете ли вы между Тампль и Шато д'О, недалеко от ратуши, сырую площадь, зажатую между несколькими рядами домов? Их нижние этажи заселены мелкими лавочниками, дети которых играют тут же на тротуарах. Здесь не проезжают экипажи. Мансарды битком набиты бедняками.

Этот пустынный треугольник – площадь Ла-Кордери.

Здесь так же безлюдно и уныло, как на улице Версаля, где шагало под дождем третье сословие. Но с этой площади, как некогда с улицы, куда вошел Мирабо, может прозвучать сигнал, раздаться приказ, на который откликнутся массы.

Всмотритесь-ка хорошенько в этот дом, что повернулся спиной к казарме и одним глазом смотрит прямо на рынок. С виду он спокоен, как и все другие. Но войдите в него!

На третьем этаже, через дверь, которую можно высадить одним ударом плеча, вы попадаете в зал, большой и голый, как классная комната.

Здесь заседает новый парламент. Приветствуйте же его!

Сама Революция сидит здесь на этих скамьях, стоит, прислонившись к стенам, облокотившись на трибуну. Революция в блузе рабочего. Здесь происходят заседания Международного товарищества рабочих, здесь собирается Федерация рабочих союзов.

Это стоит всех античных форумов! Из этих окон могут прозвучать слова, которые зажгут толпу, совсем как те, что Дантон своим громовым голосом бросал из зала суда в народ, доведенный до исступления Робеспьером.

Но здесь нет тех грозных жестов, как тогда, не слышно и барабана Сантера[145]. Нет также и той таинственности заговоров, когда клялись с повязкой на глазах под острием кинжала.

Это сам Труд с засученными рукавами, простой и сильный, с мускулистыми руками кузнеца, – Труд, чьи орудия сверкают во мраке и который кричит:

– Вам не убить меня, не убить! Я скажу свое слово!

И он говорил.

Здесь собрались члены Интернационала, все известные социалисты – в числе их Толен. В результате обсуждений, продолжавшихся около четырех часов, возникла новая сила: Комитет двадцати округов.

Это – секция[146], дистрикт, как в великие дни 93-го года, свободное объединение выборных граждан.

Каждый округ представлен четырьмя делегатами, избранными собранием. Я – один из этих избранных, на кого возложена защита прав предместья против ратуши[147].

Мы раскинули по всему городу сеть нашей федерации, и наши задачи будут совсем иные, чем задачи федерации Марсова поля[148]... несмотря на весь вызванный ею в истории шум.

Восемьдесят бедняков, вышедших из восьмидесяти лачуг, будут говорить и действовать, – а если нужно, то и драться, – от имени всех улиц Парижа, объединенных нищетой и желанием борьбы.

Семь часов. – Бельвилль

Беглым шагом двинулись мы в Бельвилль.

Мы решили организовать клуб.

Но сначала нам пришлось обратиться к приятелю трактирщику, чтобы тот отпустил нам в кредит графинчик вина и кусок жареной телятины. Мы набросились на это, как волки:

последние два дня мы мало ели, но много кричали, – а это здорово подводит живот.

– Скажи, папа, у нас революция? – спрашивают дети трактирщика, воображая, что дело идет о каком-то празднике, ради которого наряжаются, или о драке, когда нужно засучивать рукава.

Право, как-то даже не похоже... не скажешь, что рухнула такая штука, как империя.

Теперь надо собрать народ.

– Как это сделать?

– У меня есть свой план! – заявляет Уде.

Он увидел остатки какого-то полка, расположившегося на солнышке, возле казармы. Он направляется туда, подходит к кучке солдат, отыскивает среди них горниста, тащит его к тумбе и говорит:

– Влезай сюда и труби во имя Революции.

И горнист затрубил.

Таратата! Таратата!

Сбежался весь квартал.

– Задержи народ на улице, пока мы не найдем какого-нибудь помещения.

– Но где?

– В Фоли-Бельвилль, – предлагает кто-то. – Зал может вместить три тысячи человек.

– Можно видеть директора?

– Это я.

– Гражданин, нам нужен ваш зал.

– Вы заплатите за него?

– Нет, народ просит у вас кредита; но можно будет сделать сбор пожертвований. Если вас это не устраивает, тем хуже! Или вы предпочитаете, чтобы высадили двери и переломали все скамейки?

Владелец почесывает затылок.

Таратата! – Таратата!

Горнист приближается. А вместе с ним и толпа.

Директору не остается ничего другого, как согласиться.

Заседание

Избрано бюро. Уде, как живущий в этом квартале, председательствует.

В нескольких словах он благодарит аудиторию и предоставляет слово мне, чтобы объяснить зачем мы собрались и от чьего имени будем говорить.

Весь зал схвачен энтузиазмом.

Кажется, я сказал все, что было нужно.

Собрание принимает программу Коммуны, намеченную в воззвании Ла-Кордери.

Вдруг выстрел.

– Убивают!

Люди кидаются к эстраде и кричат, что там, с их стороны, на тротуаре убили одного из наших.

– Стрелял переодетый жандарм. Вся бригада квартала, прятая с четвертого сентября, снова перешла в наступление... На нас сейчас нападут.

По углам поднимается паника, но подавляющее большинство встает с криком:

– Да здравствует Республика!

Над головами замелькало и засверкало оружие всех сортов и калибров.

Под лучом газовой лампы блеснуло лезвие неизвестно откуда взявшегося топора. В амбразуре окна какой-то человек вытаскивает из кармана шары, похожие на картофель Орсини[149].

– Пусть только сунутся!

Но никто не явился. Убийца бежал.

Отыщут ли его? – неизвестно.

Перед закрытием собрания принимается резолюция: всем присутствовать на похоронах.

В день погребения меня подталкивают вперед и объявляют, что гражданин Вентра произнесет речь.

Могильщик облачивается на заступ, глубокое молчание воцаряется на кладбище.

Я выступаю вперед и обращаюсь с последним приветствием к тому, кто пал среди нас, сраженный пулей, и чья могила так тесно соприкасается с колыбелью Республики.

– Прощай, Бернар!

Перешептывание... Кто-то дергает меня за фалды.

– Его зовут не Бернар, а Ламбер, – подсказывают мне вполголоса родные.

Бедняги! Я смущен и немного взволнован, но это волнение выручает меня из глупого положения, помогая придать более широкий смысл моим словам.

– Еще ниже должны мы склониться перед останками таких безвестных, павших без славы... Воздаваемые им почести относятся не к их личности, оставшейся скромной в своем мужестве и страдании, а ко всей великой семье народа, в которой они жили и за которую умерли!

Но что бы я там ни говорил, я все-таки глубоко огорчил семью Ламберов.

Клуб хочет иметь своих делегатов в муниципалитетах. Он приказал нам немедленно водвориться в мэрии и дал для поддержки пять вооруженных человек, – не больше, не меньше.

Там нас послали ко всем чертям.

Наша пятерка хотела во что бы то ни стало удержать нас хотя бы на лестнице; готова была пожертвовать своей жизнью, если потребует. Думаю, что они сочли нас мягкотелыми, потому что мы не отдали приказа стрелять.

– Мы их припугнем, черт возьми, а тем временем один из вас отправится за подкреплением,
– кричал капрал, покручивая усы.

За подкреплением?.. Но найдем ли мы, – мы, кому так горячо аплодируют каждый вечер, – хотя бы одну полную роту, которая последовала бы за нами до конца?

Несколько раз принимали решение всей массой двинуться к ратуше.

Половина зала поднимала руки; раздавались угрозы, и мы даже испугались, как бы это не завело нас слишком далеко.

Слишком далеко?.. Не дальше, как до угла улицы, где толпа рассеялась, предоставив нам втроем или вчетвером нагонять страх на правительство.

Мы уселись в омнибус – прощай наши три су! – и, добравшись до места, уныло бродили по плохо освещенным коридорам с нашим требованием, или ультиматумом. Мы наткнулись на запертую дверь, когда подошли к кабинету Араго, на штыки – когда вздумали рассердиться. В темноте зашевелились часовые, по знаку какого-то штатского с перевязью и в высоких сапогах.

Я полагал, что звание батальонного командира удвоит мою мощь трибуна и что неплохо будет, если в конце моих фраз увидят восклицательные знаки штыков.

И я выставил свою военную кандидатуру, хотя никогда не был солдатом, смеялся над галунами и был уверен, что на каждом шагу буду путаться в своей сабле, к которой питаю непреодолимый ужас.

Состоялась встреча с несколькими важными особами нашего квартала. Свидание происходило у фабриканта Мельзезара, воображавшего почему-то, что я похож на бандита, и с удивлением отметившего, что у меня вид доброго малого... Но это заставило заскрежетать зубами одного приверженца Марата; ему хотелось бы, чтобы те, кто будут рубить чужие головы, имели на своих плечах такую, которая внушала бы ужас.

Зато мой вид успокоил нашу именитую публику, и я был избран почти единогласно.

Эта честь стоила недешево! Мне потребовалось кепи с четырьмя серебряными галунами: восемь франков, ни одного су меньше, да и то благодаря тому, что было куплено у Брюнеро, друга Пиа, уступившего мне его по своей цене.

На этом я хотел закончить свои расходы по обмундированию, но у меня стоптаны башмаки, и через два дня я замечаю, что самолюбие батальона страдает от этого.

Я представил свои каблуки на рассмотрение комитета, заседавшего без меня, но куда я потом был торжественно приглашен.

– Гражданин, мы только что голосовали за выдачу вам пары сапог на двойной подметке. Это показывает, – прибавил докладчик, – каким уважением пользуетесь вы у народа.

Увы, всюду есть завистники! Эти двойные подметки вызвали недовольство.

Однако не могу же я их отодрать. Тем более что мне от них тепло и ноги мои блаженствуют.

Несмотря ни на что, ропот не смолкает. Конечно, не в лагере сознательных, – эти ребята знают, что для защиты их интересов я не жалею ни подошв, ни собственной кожи, – орудует организованная мэром шайка: она привлекла на свою сторону башмаки, из которых торчат пальцы.

– Они еще покажут и зубы, – образно выражается писарь второй роты, предупреждая меня на утреннем докладе.

– А, вот как! Ну, подождите!

Бьет барабан.

– Пусть те, у кого нет сапог, явятся завтра к главному штабу босиком, и командир сам поведет их в мэрию. Примкнуть штыки и захватить боевые патроны!

Все пришли к месту сбора босиком.

Толпа смеется, выражает удивление, горланит.

– Вперед! Марш!

Муниципалитет в волнении.

Мэр, оптик по профессии, вооружился морским биноклем и направляет его в нашу сторону.

Он видит множество заскорузлых ног с судорожно напряженными для прыжка мускулами; одни – почти белые от волнующего ожидания, другие – черные от гнева...

Развязка не заставила себя долго ждать.

Не успели мы выстроиться под его окнами, как в воздухе потемнело от башмаков, запорхавших, точно пучки роз. Совсем как в Милане, когда женщины бросали букеты на кивера наших солдат, – только запах был иной.

Но этот невольный поставщик обуви поклялся отомстить.

Он хочет во что бы то ни стало избавиться от меня как от командира батальона.

И он нашел способ!

Сегодня, утром, в ливень, способный затопить целую армию, мои солдаты были отправлены куда-то к черту на кулички, за город, будто бы по приказу командира. Им сказали, что он будет руководить стрельбой и что они найдут его уже на месте.

А я и понятия не имел об этой прогулке и, сидя дома, преспокойно слушал шум дождя.

И вот под моим окном вспыхивает мятеж, раздаются возмущенные крики: «Долой Вентра!» Некоторые даже постукивают ружьями, заявляя, что поднимутся ко мне.

– Не поднимайтесь! Я сам спущусь к вам!

Их человек пятьсот – шестьсот. Они заполнили зал Фавье и грозят мне кулаками, когда я прохожу среди них, направляясь к трибуне.

Но все они – славные ребята, и, несмотря на свой гнев и проклятия, они не оскорбили меня, не задели ни одним жестом. Кончилось даже тем, что они выслушали меня, когда я указал им на предательство. Волнение улеглось, гнев утих...

Но с меня довольно. Я возвращаю кепи и саблю и подаю в отставку.

Всего хорошего, товарищи!

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 мая 2026 13:27:53

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 2 мая 2026 13:31:40